

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

РАЗЛИЧИМЫЕ СИЛУЭТЫ

7

«С нами Бог, с нами; чтите все росса»

ПОРУЧИК ГАВРИЛА ДЕРЖАВИН

17

«Брань кровавую спокойным мерил оком»

АДМИРАЛ АЛЕКСАНДР ШИШКОВ

87

«О, ринь меня на бой»

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДЕНИС ДАВЫДОВ

149

«Я пел, для храбрых лиру строя...»

ПОЛКОВНИК ФЁДОР ГЛИНКА

233

«Мне очень нравится военное ремесло»

ШТАБС-КАПИТАН КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ

303

«Лестно было назваться воином русским...»

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПАВЕЛ КАТЕНИН

353

«Носи любви и Марсу дани...»

КОРНЕТ ПЁТР ВЯЗЕМСКИЙ

405

«Начало, которое делает нас

столь отважными»

РОТМИСТР ПЁТР ЧААДАЕВ

493

«За нами горы тел кровавых»

МАЙОР ВЛАДИМИР РАЕВСКИЙ

553

«И случай, преклоняя темя,

держал мне золотое стремя»

ШТАБС-КАПИТАН АЛЕКСАНДР

БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

619

Послесловие

«От первых лет поклонник бранной славы»

АЛЕКСАНДР ПУШКИН,

ИЛИ

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ В ЗОЛОТОЙ ВЕК

699

Избранная библиография

723

РАЗЛИЧИМЫЕ СИЛУЭТЫ

Ещё полвека назад они были близко.

Писавший о людях Золотого века вглядывался в склянку тёмного стекла из-под импортного пива — и вдруг, как ему казалось, начинал различать людей и ситуации.

Державина мохнатые брови, глаза его стариковские и подслеповатые. Шишков сжимает строгий рот. Давыдов не хочет, чтоб его рисовали в профиль — нос маленький. Потом смотрится в зеркало: да нет, ничего. Глинка печально глядит в окно; за окном — тверская ссылка. Батюшков пугается один в тёмной комнате, резко выбегает в зал, еле освещаемый двумя моргающими свечами, шёпотом зовёт собаку — если собака придёт, значит... что-то это значит, главное — вспомнить её имя. Эй, как тебя. Ахилл? Пожалуйста, Ахи-и-ил. Пытается свистеть, кривит губы — забыл как. Вернее сказать, никогда не умел. Катенин наливает полстакана, потом, так и держа бутылку наперевес, задумывается и, спустя миг, быстро доливает всклень. Вяземский с трудом сдерживает ухмылку. Вдруг выясняется, что у него ужасно болит сердце. Он сдерживает ухмылку, потому что, если засмеётся в голос, — упадёт от боли в обморок. Чаадаев сучает,

но он уже придумал остроу и лишь ждёт удобного момента, чтоб устало её произнести. Раевский злится и беспокоен. Играет желваками. Всё внутри у него клокочет. Несносные люди, несносные времена! Бестужев разглядывает дам. Дамы разглядывают Бестужева: Вера, я тебя уверяю, это же тот самый Марлинский.

Наконец, Пушкин.

Пушкин верхом, Пушкина не догнать.

Склянка тёмного стекла, спасибо тебе.

Им было проще, жившим тогда, в середине прошлого века: Булату, Натану или, скажем, Эмилю — кажется, кого-то из них звали Эмиль, их всех звали редкими именами. Золотой век они описывали так, словно рисовали тишайшими, плывущими красками: всюду чудился намёк, мелькало что-то белое, бледное за кустами.

Обитатели Золотого века, согласно этим описаниям, ненавидели и презирали тиранов и тиранию. Но только нелепые цензоры могли подумать, что речь идёт о тирании и тиранах. Разговор шёл о чём-то другом, более близком, более отвратительном.

Если вслушиваться в медленный ток романов о Золотом веке, можно различить журчание тайной речи, понятной только избранным. Булат подмигивал Натану. Натан подмигивал Булату. Остальные просто моргали.

Но в итоге многое оставалось будто бы неясным, недоговоренным.

Блестящие поручики отправлялись на Кавказ — но что всё-таки они там делали? Да, вели себя рискованно, словно кому-то назло. Но кто в них стрелял, в кого стреляли они? Что это за горцы такие? С какой они горы?

С кавказской горы горцы — опасные люди. Михаил Юрьевич, вы бы пригнулись. Не ровен час в Льва Николаевича попадут.

Иногда поручики воевали с турками, но зачем, отчего, с какой целью — снова никто не понимал. Что, в конце концов, им было нужно от турок? Наверное, турки первые начали.

Или, скажем, финны — чего они хотели от финнов, эти поручики? Или — от шведов?

А если, не приведи Господь, поручик попадал в Польшу и давил, как цветок, очередной польский бунт — об этом вообще не было принято говорить. Поручик наверняка попадал туда случайно. Он не хотел, но ему приказали, на него топали ногами: «А может, тебя, поручик, отправить во глубину сибирских руд?» — кажется, вот так кричали.

Авторы жизнеописаний поручиков щедро делились со своими героями мыслями, чаяниями и надеждами. Ведь авторы были искренно убеждены, что мысли, чаяния и надежды у них общие, будто и не прошло полтора века. Иногда даже могли сочинить вместе с ними (а то и за них) стихотворение: какая разница, когда всё так близко.

А что — рукой же подать: авторы жизнеописаний родились, когда ещё был жив Андрей Белый, а то и Саша Чёрный. Ахматову и подавно видели своими глазами. А ведь от Ахматовой полшага до Анненского, и ещё полшага до Тютчева, а вот уже и Пушкин показался. Два-три рукопожатия.

К склянке тёмного стекла свою согретую рукопожатием ладонь прижал: пока тепло её таяло, успел разглядеть линии других рук. А если к ней ухо приложить? Там кто-то смеётся; или плачет; а вот и слова стали разборчивы...

Сейчас, в наши дни, одному руку сожмёшь, другому — ничего не чувствуешь: даже от Льва Николаевича не слышны приветы — куда там к Александру Сергеевичу или Гавриле Романовичу дотянуться.

Для нас живые, свойские — Маяковский, Есенин, Пастернак: та же смуть, те же страсти, тот же невроз. Не жалею,

не зову, не плачу, свеча горела на столе, ведь это кому-нибудь нужно. Они нашими словами говорили, ничем от нас не отличались: дай обниму тебя, Сергей Александрович; дайте лапу вашу сжать, Владимир Владимирович; ах, Борис Леонидович, как же так.

Серебряный век — ещё близкий, Золотой — почти недостижимый.

Для путешествия в Золотой век склянка тёмного стекла нынче уже не подходит. Вертишь её в руках, крутишь, трёшь — тишина. Да и жил ли там кто в ней?!

На Золотой век надо долго настраивать разноглазый радиоприёмник, вслушиваться в дальний, как с другой звезды, шип, треск, трепетанье.

Вдруг различить прерывающийся голос: «...склоняся на щиты... стоят кругом костров... зажжённых в поле брани... простёр... на арфу... длани...»

С кем это? О ком? Кому?

Разглядывая Золотой век, приходится наводить в его сторону длинную, как каланча, загибающуюся подзорную трубу. До зуда во лбу всматриваешься в сочетание звёзд, поначалу кажущееся спонтанным, случайным, рассыпанным.

...А потом вдруг различаешь анфас, посадку головы, руку.

В той руке — пистолет.

Державин невольно зажмурился, ожидая выстрела, но пушка всё равно ударила неожиданно; он вздрогнул и тут же раскрыл глаза. Все вокруг закричали: «Атамана... их атамана убили!.. сволочь побежала!»

Шишков ехал в повозке вдоль стены, выложенной из заледевших трупов. Стена не кончалась. Мысленно он прикидывал: вот эта, забыл как, улочка, ведущая к Неве, — она же короче? Нет, точно короче.

Давыдов привстал на стременах, выискивая взглядом Наполеона. Он однажды встречался с ним глазами — в день заключения Тильзитского мира. Но то был совсем другой случай, тогда Давыдов и помышлять не мог, что может увидеть его так — будучи на коне, с саблей наголо, во главе отряда головорезов, получивших приказ «С пленными не возиться, детушки мои».

Глинка удивлялся сам себе: в детстве его мог до ужасного сердцебиения напугать внезапно налетевший шмель. Теперь, минув неприятельские позиции, он даже коня пришпоривал без остервенения, жалел — при том, что по Глинке сейчас били даже не ружейным огнём — попасть в скачущего всадника из ружья не так просто, — а картечью.

Некоторое время Батюшков думал, что он умер и погребён. И его разрывают, чтобы переложить надёжней, удобней. И землю не роют, а будто бы сносят, стягивают слипшимися тяжёлыми пластами. Наконец, догадался, что лежал под несколькими трупами, заваленный. Когда Батюшкова подняли на руки, он успел увидеть одного из придавивших его: тот лежал на боку со странным лицом — одна половина лица была невозмутима и даже умиротворённа, другая — чудовищно искривлена.

Катенин смотрел в спину своему знакомому — в своё время блестящему офицеру, теперь разжалованному в рядовые. Его Катенин когда-то хотел убить на дуэли. Теперь тот, не пугаясь выстрелов, высокий, на голову выше Катенина, побежал вперёд с ружьём наперевес. Катенин подумал: «А может, застрелить его?» — но эта мысль была несерьёзной, злой, усталой. Катенин сплюнул и поднял своих в атаку. Чего лежать-то: холодно, в конце концов...

Вяземский вслушивался в грохот сражения и с удивлением думал: а ведь есть люди, которые, в отличие от меня, слыша этот грохот, понимают, из чего и куда стреляют, и для них всё это

столь же ясно, как для меня — строение строф и звучание рифм. Но ведь это невозможно: «...этот грохот лишён какой бы то ни было гармонии!..» — и вслушивался снова.

«Всё-таки тяжёлая эта пика...» — отстранённо, как не о себе, решил Чаадаев, и в тот же миг отчётливо увидел — хотя, казалось бы, не должен был успеть, — что человек, получивший удар пикой в грудь, был явственно озадачен. Мысль, мелькнувшая в его лице, могла быть прочитана примерно следующим образом: «...о, что же это со мной, отчего больше нет земли под ногами, и почему такой долгий полёт? Такой приятный, и только совсем чуть-чуть неудобный из-за острой тяжести в груди, полёт...» Лошадь Чаадаева пронеслась мимо. Пика стояла вертикально, как дерево, готовое распусться. Был март.

Артиллеристы Раевского выкатили орудие на дорогу, он побегал в близкий перелесок — помочь выкатить второе, и вдруг увидел вдалеке, на той же дороге, целую толпу неприятелей. Они тоже увидели его. Надо было понять: тащить ли второе орудие, или вернуться к первому. Среди неприятелей виднелось несколько конных. Успеют, нет? «Заряжай!» — закричал он, оглянувшись к своим ребятам. Напугавшись крика, взлетела птица с ветки. Раевский побегал к орудию, чертыхаясь и едва не падая. Было какое-то удивительное и странное чувство, что эта птица и была его голосом... и сейчас его голос улетел. А как он отдаст следующую команду?

Продираясь сквозь заросли, Бестужев-Марлинский поймал себя на том, что в который раз точно знает, откуда вот-вот прозвучит выстрел, через сколько шагов он достигнет последнего из отступавших и заколет его ударом штыка, и ещё что слева, на дереве, удобно сидит стрелок. Сейчас стрелок прицелится в Бестужева... и промахнётся. «А следом я выстрелю, и попаду», — не молниеносным ощущением, а отдельными, спокой-

ными словами сообщил себе Бестужев. Прицелился, выстрелил, попал.

...И Пушкин, конечно. Пушкин верхом. Пушкина не догнать.

У нас возникло тайное ощущение, что всех этих людей никогда не было: потому что кто так может жить — с войны на войну, с дуэли на дуэль.

Нет, так не могло быть, всё это — придуманные персонажи какого-нибудь древнего, слепого, полумифического сочинителя поэм: разве в них можно поверить?

Сейчас так никто не делает; по крайней мере — из числа пишущих.

Тем не менее, они жили — настоящие, истекавшие кровью, болевшие, страдавшие, пугавшиеся раны, плена, гибели.

Их мир не был чёрно-белым, выцветшим, осыпающимся. Нет, он тоже имел цвета и краски.

Пушкин был светлокожий, с годами русевший волосом всё более. Пока был тёмный — смеялся куда заразительней. Чем больше русел, тем меньше улыбался.

Вяземский не искал карьеры, но она его настигала; дураки обвиняли его в том, что он куплен государем, на то они и дураки — едва ли в России был человек, которому было так мало дела до всей этой суеты.

Чаадаев, кажется, в Польше имел дело с проституткой: ушёл, пожав плечами. Это показалось нелепым и бессмысленным — что-то вроде дуэлей, которых, впрочем, он не пугался, как и смерти вообще. Путешествия очень скоро приелись; вино — тем более. По здравом размышлении в конце концов оставались: он сам, Родина, Бог. Тасовать эти карты, только эти карты тасовать.

Раевский изменился характером, когда оставил юношескую привычку выпячивать челюсть, что делало его некрасивым. Но

перестал выпячивать — и что-то потухло в глазах. Старший его сын ещё помнил отца с таким лицом, словно тот пугает кого-то или играет с кем-то, а младшие — уже нет.

Бестужев был ласкун, мать его обожала, могла прижать к себе и гладить по голове, ему нравилось. Такой ласковый, что вообще не должен был бы воевать. Но у Бестужева имелась одна аномалия: он был лишён чувства страха. То, что другие преодолевали, он проходил сквозь. Потом уже, болея всем подряд, Бестужев закусывал руку от желудочных болей и рычал: к чёрту бы это всё, к чёрту, — совсем не страшно, но ужасно колет в животе.

У Катенина сложилось так: он куда больше думал о культуре, о театре, о поэзии, чем о себе. Но мир настолько не отвечал ему взаимностью, что о чём бы он ни говорил — всегда получалось, что о себе, о своём раздражении. Это многим не нравилось, но не Пушкину. Пушкин всё понимал в Катенине. На свете так и не родился человек, который мог бы оценить Катенина в той же мере, как Пушкин.

Батюшков боялся спать и, когда просыпался, ещё не открыв глаза, проверял состояние своего рассудка, называя предметы, стоящие в комнате, и вспоминая их местоположение. Всё время забывал один подсвечник, в самом углу, совершенно там не нужный.

Глинка всерьёз считал, что сны его столь же полноценны, как реальность. Нет, с какого-то дня они стали даже более полноценны. Он написал о них больше, чем о тюрьме.

Давыдов был на редкость здравомыслящий человек — один из самых здравомыслящих и спокойных людей в русской литературе. Денис Васильевич и стихи писал редко в силу своего умственного здоровья: зачем? ну, будет ещё один стишок — я же в позапрошлом году написал два, куда столько... Сейчас

бы в атаку, конную, неожиданную — вот забава была бы по душе.

Шишкову смертоубийство казалось чудовищным и невозможным; куда лучше есть себе конфеты, или, к примеру, изюм. Но Отечество? Отечество казалось ему живым до такой степени, что хотелось напоить его горячим молоком, укутать, спрятать. Чувство к матери, которую так редко видел и так видеть хотел, наложилось на чувство патриотическое.

А Державин? Державин к себе относился хорошо, потому что знал себе цену. Погибнуть на войне — это было с его точки зрения неразумным расходом человеческого материала.

В какой-то момент — наверное, это ещё в Преображенском полку было — он с удивлением обратил внимание, что все люди вокруг него — глупей его. Не то чтоб они вообще глупы, но их мотивации и поступки чаще всего предсказуемы. Это его удивило, но не очень сильно: быстро привык.

Он не был амбициозен. Просто знал, что достоин очень многого.

Державин не был из тех, кто искренне верит, что говорит с Богами. Он был первым в противоположном смысле: осознавшим немислимую огромность расстояния до Бога. Однако надежды загнать это расстояние в строку не оставлял.

Ещё он оказался одним из первых в нашей поэзии, кто точно знал вес, цену русских слов и, кажется, даже их цвет. Это были не просто слова с их значениями — в их звучании таилась незримая сила, их неожиданные сочетания высекали искры. Державин строил речь и вёл её, заставляя вверенные ему слова громыхать, вскрикивать, издавать писк, маршировать, петь хором, размахивать знамёнами.

По сути своей Державин не был военным, но смысл войны понимал на уровне не только политическом, но и музыкальном.